



МУЖЕСТВО ТАЛАНТА

Первое упоминание о Хауорте, сельском пасторате в графстве Йоркшир, относится к концу XII века. Сейчас, в начале XXI, Хауорт — всемирно известный Мемориальный центр сестер Бронте, который ежегодно посещают тысячи почитателей творчества Шарлотты, Эмили и Анны. Начало массовому паломничеству положило создание в 1893 году Общества Бронте, организованного небольшой группой энтузиастов. В 1928 году на благотворительные пожертвования Обществу удалось выкупить у последних владельцев пасторский дом, в котором некогда жили Бронте, и теперь там находится прекрасный музей, где с преданной любовью и научной тщательностью воспроизведена обстановка. Там жили и творили сестры-писательницы.

Каждый год в июне на общее собрание и поминальную службу в Хауорт почти из всех стран мира съезжаются члены Общества и многочисленные туристы. По Главной улице, преодолевая довольно крутой подъем, толпа взбирается к церкви Архангела Михаила и Всех Святых, и трудно представить, что в 1847–1848 годах, когда были опубликованы романы «Джейн Эйр», «Грозовой перевал» и «Эгнес Грей», эта улица бывала пустынной, а Хауорт все еще оставался глухим, отрезанным от внешнего мира провинциальным селением.

Что же влечет туристов в сегодняшний Хауорт? Прежде всего легенда о трех романтических затворницах-сестрах «не от мира сего», которых снедали жажда творческого самовыражения и смертельный недуг (туберкулез). Может быть, поэтому большая часть почитателей сразу устремляется в церковь, где в апсиде, под каменными плитами пола, похоронена почти вся пасторская семья. Скорбный перечень открывает мать, Мария Бронте. Далее следуют имена детей: Мария, Элизабет, Патрик Брэнзуэлл, Эмили

Джейн, Шарлотта — и завершает перечень его преподобие Патрик Бронте, переживший всех своих чад, в том числе и самую младшую дочь, Анну, которая умерла в Скарборо и там похоронена.

Из церкви паломники направляются в скромный пасторский дом. Справа от входа — кабинет мистера Бронте, слева — столовая с темно-красными занавесями. У правой стены стоит диван, на котором умерла Эмили. На стенах портреты: Шарлотты кисти Д. Ричмонда (оригинал находится в Национальной галерее) и У. Теккерея — ее любимого писателя. Наверху — спальни. В той, где умерла Шарлотта, в стеклянных витринах ее платья и неправдоподобно маленькие туфли, перчатки и чепчики: она была миниатюрна, ростом всего 1 метр 45 сантиметров. Здесь, на втором этаже, есть еще одна маленькая спальня — бывшая детская. В этой комнате на узкой низенькой постели иногда сидела юная Шарлотта, глядя в окно на угрюмое старинное кладбище. Посетители смотрят туда же и настраиваются на грустный лад. Вот так же, думают они, Шарлотта (и Эмили, и Анна) с дрожью взирали на поросшие мхом и лишайниками надгробия и размышляли о бренности бытия. Сразу же оговоримся: далеко не всегда. Мысли их, особенно Шарлотты и Эмили, бывали совсем иного свойства.

Шарлотте было четыре, когда в 1820 году отец получил назначение в этот йоркширский приход и перевез сюда семью, и здесь от мучительной болезни вскоре умерла его жена. Старшей дочери, Марии, исполнилось семь, младшей, Анне, — всего несколько месяцев.

Властный, эгоцентричный, превыше всего ценивший комфорт и покой, пастор Бронте редко покидал кабинет, где вкушал одинокие трапезы и готовил проповеди. Однако иногда он выходил к детям в столовую и наблюдал их необычные игры. Нередко они спорили, кто самый доблестный военачальник из всех: «герцог Веллингтон, Буонапарте, Ганнибал или Цезарь». Когда спор становился чересчур, по его мнению, громким, он «умиротворял» их. Иногда пастор и сам снисходил до «игры» и задавал детям совсем не детские вопросы. Так однажды он спросил Шарлотту: «Какая книга лучшая в мире?» — «Библия», — ответила она. «А еще?» — «Книга Природы».

Патрик Бронте не раз убеждался, что его дети гораздо способнее и умнее своих сверстников. Тем более его беспокоила будущность дочерей. Если они не выйдут замуж, им придется служить гувернантками или учительницами. Значит, надо дать девочкам хорошее образование. Узнав о существовании недорогого пансиона для дочерей священнослужителей, он отправил туда Марию

и Элизабет, а через несколько недель и Шарлотту. Пребывание в Коуэн-Бридж стало бедствием для сестер Бронте. Здесь было очень голодно и холодно, здесь буквально травили Марию — за рассеянность и «неаккуратность» — и довели старших сестер Шарлотты до скоротечной чахотки.

После смерти Марии и Элизабет пастор Бронте стал осмотрительнее и отдал Шарлотту в Роухедскую школу сестер Вулер, где с учениками обращались более гуманно. Молчаливая и необщительная, Шарлотта была воплощением трудолюбия и чувства долга и скоро стала лучшей ученицей в школе. Несмотря на замкнутость, она приобрела здесь двух верных друзей — и на всю жизнь. То была смелая, порывистая Мэри Тэйлор и рассудительная, набожная Эллен Насси. В Роухеде Шарлотта провела полтора года и научилась всему, что в те времена требовалось от гувернантки: а это грамматика, арифметика, изящное рукоделие, рисование и французский язык. Дома ее ждали Эмили и Анна, всегда готовые учиться, когда не пребывали в своей воображаемой стране Гондал, о которой они сочиняли стихи и саги. Шарлотта и Брэнзуэлл тоже обрели страну грез, Ангрию, где совершал геройские, а иногда и преступные деяния своенравный и обольстительный герцог Заморна. Первые литературные труды брата и сестры создавались под явным влиянием поэзии Байрона. Был и другой властитель романтического воображения Шарлотты и Брэнзуэлла — «корсиканское чудовище», Наполеон. Поэтому иногда, сидя в маленькой спальне и глядя в окно, в которое теперь подолгу смотрят туристы, Шарлотта уносилась мечтами в мир ярких вольнолюбивых страстей. Подчас она и сама не знала, что реальнее: однообразная повседневность Хауорта или бурные события, совершавшиеся в фантастической Англии. «Мало кто поверит, — запишет она в дневнике, — что воображаемая радость может доставить столько счастья».

А затем пришло письмо от мисс Вулер. Она предлагала Шарлотте место помощницы в своей школе и, в счет части жалованья, обучение Эмили. Та, однако, оказалась неспособной существовать без Хауорта, где в любой час могла внезапно сорваться в долгую прогулку по вересковым холмам и долинам, и ее место в школе заняла кроткая Анна, которая стала общей любимицей. Шарлотту тоже все больше тяготило пребывание в Роухеде. На рождественских каникулах 1836 года она отправила письмо поэту Роберту Саути. Прилагая к письму свои стихи, девушка почтительно спрашивала, способна ли она стать профессиональной писательницей? Поэт-лауреат был строг. «Литература не может

быть уделом женщины и не должна им быть», — внушал он неизвестной корреспондентке. Однако стихи ему понравились, и он «разрешил»: «Пишите стихи ради них самих, без излишней гордыни, не рассчитывая на славу. Тогда это занятие не повредит ни сердцу вашему, ни уму». По счастью, Шарлотта Бронте совету Саути не последовала. Особенно уязвило ее утверждение, что литература — не женское дело. У нее на этот счет складывалось совсем иное мнение.

В двадцать два года она снова вернулась в Хауорт, но не в Ангрию. У Шарлотты появился небольшой, однако весьма реальный и прозаический житейский опыт. Заморне с его авантюрами уже не удавалось владеть всеми ее помыслами, но в одном она оставалась ему верна. Ее будущий избранник тоже должен быть своеобразен, оригинален, обаятелен. Поэтому она отвергает предложение брата Эллен, Генри Насси. Генри, став помощником священника, решил, что ему надо жениться, а жену взять такую, которая способна совмещать супружеские обязанности с обучением детей прихожан в церковной школе. Отвечая отказом, Шарлотта пишет: «Я презираю обман и никогда ради того, чтобы обрести почтенное положение замужней дамы и избежать клейма старой девы, не выйду за достойного человека, которого, по моему понятию, не смогу сделать счастливым».

Между прочим, по викторианским понятиям, ей уже полагалось быть «устроенной», она же отказывалась от вполне обеспеченного положения, не имея иной перспективы, кроме нелюбимого труда гувернантки. А работать было необходимо. Брэнзуэлл не оправдывал надежды семьи. Не став, как мечтал, литератором, он занялся живописью в надежде освоить ремесло портретиста, однако художник он был посредственный и постоянной клиентуры не нашел. Брэнзуэлл бездельничал, все чаще его видели в окрестных тавернах, а в поисках вдохновения он постепенно пристрастился к опиуму. Его мало заботила материальная зависимость от отца — не то что сестер. Даже Эмили, с ее органической потребностью жить только в Хауорте, полгода преподавала в пансионе. Анна, стойкая и решительная при всей своей кротости, уже служила гувернанткой и посылала домой мужественные письма. Шарлотта тоже получила предложение знатного семейства Сиджвиков — опекать и учить двоих избалованных сорванцов, мать которых вела себя с ней очень высокомерно. Хозяйке не нравилась застенчивая, но гордая девушка. Шарлотту вскоре рассчитали, и она опять вернулась в Хауорт, где ей неожиданно снова сделали предложение: на этот раз начинающий ирландский

пастор Брайс, и он Шарлотте как будто понравился: был весел и остроумен. Однако слишком скоропалительно он предложил ей руку и сердце, а признанию — так она считала — должна предшествовать длительная и волнующая романтическая прелюдия.

В марте 1841 года она снова в гувернантках. Новая хозяйка держалась мило и приветливо, но требовала от Шарлотты помимо занятий с детьми шитья на них по вечерам, не оставляя ей ни минуты досуга, а Шарлотта уже работала над романом «Эшворт» (к сожалению, незаконченным)¹. И тут ее осенило: что, если три сестры Бронте откроют свою школу? Тогда не надо будет зависеть от чужой воли и капризов. Однако для этого необходимо самим еще поучиться, например усовершенствовать знание французского. На помощь пришла тетушка: она согласилась оплатить (в долг) учебу Шарлотты и Эмили в Брюсселе в пансионе супругов Эгер.

Сначала пансион произвел на сестер хорошее впечатление: помещения просторные, полные света и воздуха; в прекрасном саду цветут розы; сна и еды достаточно. Здесь бы несчастные Мария и Элизабет не зачали от голода, болезни и черствого обращения. Однако Шарлотта и Эмили принадлежали к протестантской церкви. Воспитанные в суровом пуританском духе, они усмотрели в свободном режиме «растлевающее» влияние католицизма, который, как они считали, всегда идет на уступки плоти в ущерб духу. Но с этой обстановкой Шарлотту примиряло общение с господином Эгером, мужем хозяйки пансиона и преподавателем французской словесности, человеком умным, вспыльчивым, требовательным к тем, в ком он чувствовал способности, — и обаятельным. Прошло полгода, и мадам Эгер, оценив работоспособность сестер Бронте, предложила Шарлотте место учительницы английского языка, а Эмили должна была давать уроки музыки — и это взамен платы за собственное их обучение. Шарлотта и Эмили согласились, но пришла весть о смерти тетушки, и надо было срочно ехать в Англию. Вернулась в Брюссель только Шарлотта, Эмили не захотела больше расставаться с домом.

Рано утром, до занятий, Шарлотта гуляла в саду и нередко встречала господина Эгера, ухаживавшего за розовыми кустами. Он продолжал давать ей уроки французской литературы, она учила его английскому. Время от времени он дарил ей книги, очевидно не придавая этому особого значения, но для Шарлотты эти маленькие знаки внимания были началом новых, неизведан-

¹ См. перевод нескольких глав романа «Эшворт» в издании: *Шарлотта Бронте*. Шерли. Эшворт. М.: Эксмо, 2004. — (2-е издание).

ных отношений, в которых она сама отвела себе роль послушной и восторженной ученицы. «Рисунком» своих отношений с Эгером Шарлотта воспроизводила тот романтический идеал, который с легкой руки Гёте стал бродячим сюжетом в литературе и вызвал немало подражаний в жизни. Преклонение Миньоны перед Вильгельмом Майстером не только умиляло читательниц, оно казалось высшей формой отношений женщины и мужчины. А разве сам Гёте и юная Беттина фон Арним, преданно устраивающаяся на скамеечке у ног великого Олимпийца, чтобы внимать его мудрым речам, не подали этот идеальный пример отношений Ученицы и Учителя грядущим поколениям романтически настроенных дев?

Однако Шарлотта Бронте страстно полюбила своего Учителя, и это не укрылось от глаз супругов. И вот постепенно прекратились уроки литературы, затем — английского языка. Шарлотта с каждым днем чувствовала себя все более одинокой и несчастной. Учитель явно ее избегал. На помощь приходило воображение. Мысленно она проживала волнующее развитие отношений, а так как действительность почти не давала для этого пищи, неразделенное чувство питалось крохами воспоминаний о прежних разговорах и встречах. Она страдала и в январе 1844 года вернулась в Хауорт. В письме к Эллен Насси она признавалась: «Думаю, сколь долго бы я ни прожила, я не забуду, чего мне стоило расставание с господином Эгером». Правда, еще оставалась слабая надежда: хотя бы перепиской продолжать дорогие ей отношения.

«...Я не прошу Вас писать мне часто, потому что боюсь надоест Вам своими письмами... Непременно, как только я заработаю достаточно денег, чтобы приехать в Брюссель, я приеду и опять, хотя бы на мгновение, встречу с Вами» (июль 1844).

«...Мсье, беднякам немного нужно для пропитания, они просят только крошек, что падают со стола богачей. Но если их лишить этих крох, они умрут с голода. Мне тоже не надо много любви со стороны тех, кого я люблю. Я не знала бы, что делать с дружбой, принадлежащей мне целиком, мне одной, я к этому не привыкла, но Вы проявили ко мне небольшой интерес, когда я была Вашей ученицей в Брюсселе, и я упорно хочу сохранить этот интерес — я цепляюсь за него, как бы цеплялась за жизнь» (8 января 1845).

«...простите меня, мой дорогой Учитель, — пусть не раздражает Вас моя печаль, ибо, как сказано в Библии: «от полноты сердца уста глаголют», и мне действительно трудно быть веселой, если я думаю, что больше никогда Вас не увижу... Ш. Б.» (18 ноября 1845?).

На полях этого письма ее учитель записал фамилию своего сапожника...

Возможно, господин Эгер тоже находил некую прелесть в отношениях Учителя и Ученицы, но такие отношения были столь невинны, что мадам Эгер принимала их как должное. Иное дело — «мисс Шарлотта». Она его любила. К тому же она не могла, да и не хотела, очевидно, скрывать свои чувства: их отношения — высшего порядка, они имеют право существовать независимо от того, женат мосье или нет. Он, однако, полагал иначе. Господин Эгер (между прочим, католик) был очень строг в вопросах нравственного долга, а кроме того, очевидно, любил жену и не хотел доставлять ей беспокойства приватной перепиской. Поэтому ответом на жалобы и мольбы Шарлотты было мучительное молчание. Наверное, если бы она могла оставить Хаурт, перемена места смягчила бы эту сердечную муку. Решительная Мэри Тэйлор собиралась эмигрировать в Новую Зеландию и звала ее с собой. Но Шарлотта была старшая, она должна вести дом, чтобы ничто не нарушало комфорт и покой «папы». Итак, она осталась дома, откуда посылала Эллен Насси тоскливые письма: «...Жизнь уходит, и скоро мне будет тридцать, но я еще ничего не сделала... а я жажду путешествовать, работать, жить деятельной жизнью».

Однако Шарлотта Бронте не принадлежала к числу людей, готовых подчиниться разочарованию и безнадежности. Однажды, осенью 1845 года, она случайно обнаружила тетрадь со стихами. Это был почерк Эмили. Стихи были жестки, лаконичны и неподдельно искренни, а главное — исполнены особой «музыки... дикой, меланхолической и возвышенной». Анна тоже писала стихи. Были стихи и у Шарлотты. Так почему бы им не опубликовать поэтический сборник? Было решено печататься под мужскими псевдонимами. Фирма «Эйлот и Джонс» согласилась издать «Стихотворения Керрера, Эллиса и Эктона Беллов» за авторский счет, и в конце мая 1846 года небольшой сборник вышел в свет, а уже в июне в литературно-критическом журнале «Атенеум» появился благосклонный отзыв, причем высокой похвалы удостоился Эллис Белл (Эмили), «беспокойный дух» которого произвел на свет «столь оригинальные стихотворения». Ободренная первым общим успехом, Шарлотта снова обратилась к господам Эйлоту и Джонсу: не заинтересует ли их проза «братьев Беллов»? Она имела в виду свой первый роман «Учитель», а также «Грозовой перевал» Эмили и «Эгнес Грей» Анны.

«Учитель» доставил Шарлотте много огорчений и был опубликован только после ее смерти...

В истории любви молодого учителя Уильяма Кримсуорта и его ученицы Фрэнсис Анри, а также в отношениях Зораиды Рейтер, директрисы пансиона для девочек, и преподавателя литературы г-на Пеле много автобиографических деталей, но еще больше позаимствовано из отношений воображаемых. Пережив увлечение Зораидой, которая поздним вечером принимает у себя Пеле, Уильям обращает внимание на скромную, но очень способную иностранку Фрэнсис Анри, которая наделена одухотворенной привлекательностью и выгодно отличается целомудренной сдержанностью от других пансионеров, уже «развращенных» католической вольностью нравов. Коллизия завершилась счастливым браком учителя и ученицы, однако роман был единодушно отвергнут всеми издателями, к которым обращалась Шарлотта: в нем не было ничего таинственного и мелодраматичного, а героиня к тому же была некрасива, более того, полемически некрасива. Фрэнсис не обладала ни привычными для читателей шелковистыми локонами (предпочтительно золотистого цвета), ни коралловыми устами, и автор не стремился сгладить некрасивость героини голубиной кротостью характера или обаянием женственности. Фрэнсис была олицетворением «красоты *трудной*» (как называл это качество С. Т. Кольридж), которую надо постичь за ничем не примечательной внешностью (как тут, кстати, не вспомнить другой образец «трудной красоты» — некрасивую и прекрасную княжну Марию Льва Толстого?)...

Однако неудача Шарлотту не сломила. Все еще упорствуя и пересылая злосчастного «Учителя» от издателя к издателю, радуясь успеху сестер — и «Грозовой перевал», и «Эгнес Грей» были приняты к публикации, — она тоже возымела надежду. Издатели Смит и Элдер, как и прочие, возвратили ей «Учителя», но с мотивированным объяснением, а главное — они распознали в «Керрере Белле» несомненный литературный дар и сообщили, что с интересом ознакомятся с его новым произведением.

24 августа 1847 года Шарлотта Бронте выслала им рукопись романа «Джейн Эйр». 16 октября того же года он увидел свет. Это был успех — быстрый, ошеломительный, грандиозный. Иначе и быть не могло: роман был написан с таким напряжением страсти, с такой силой искренности, что это не могло не взволновать читателя. Потрясали сцены жизни и учения маленькой Джейн в «Ловудском благотворительном заведении для бедных девиц», основой для которых послужил тяжкий, а для Марии и Элизабет убийственный опыт обучения в пансионе Коуэн-Бридж. Одиннадцатая же глава романа переносила читателя в область само-

го увлекательного романтического вымысла. Теперь Джейн Эйр, молодая, сильная духом гувернантка, отстаивает свое человеческое достоинство в постоянном единоборстве воле, характеров, представлений о жизни с тем человеком, которого она полюбит и который полюбит ее.

Роман был прекрасно написан. Суховатые и сдержанные, «графические», ловудские главы сменялись торнфильдской частью романа с ее нервно пульсирующим стилем, который так соответствовал нарастающей страсти Рочестера и Джейн.

...Еще до начала работы над романом Шарлотта как-то упрекнула сестер: зачем их героини красивы? «Но ведь иначе читателя не привлечешь», — ответили Эмили и Анна. «Вы ошибаетесь, — сказала Шарлотта. — Хотите, моя героиня будет некрасивой внешне, но по-человечески настолько интересной, достойной и привлекательной, что ее непременно любят?» И в «Джейн Эйр» ей это прекрасно удалось. Конечно, у Шарлотты уже был некоторый опыт создания образа «трудной красоты» — Фрэнсис Анри. Но «заставить» Рочестера, этого «бывшего» Заморну, страстно полюбить не роскошную красавицу Бланш Ингрэм, а некрасивую маленькую гувернантку, всегда в черном, всегда серьезную и печальную, и *убедить* читателя в подлинности, искренности и непреложности такой любви, убедить его и в том, что Джейн Эйр, в которой воплотилось представление Бронте о силе духа и непреклонной воле неимущей, но гордой девушки, неспособной пойти на компромисс с совестью ради богатства и роскоши, — для этого надо было обладать действительно замечательным мастерством.

Шарлотта Бронте могла бы завершить роман вполне реалистическим финалом: Джейн уезжает с Сент-Джоном Риверсом в Индию, чтобы заняться миссионерской деятельностью. Это было бы так в духе времени. Такой финал, возможно, примирил бы некоторых критиков с романтической торнфильдской интерлюдией, с ее борениями любви и гордости. Однако было в романе «Джейн Эйр» еще одно качество, вызвавшее негодование рецензентов: так, уважаемый журнал «Квотерли ревью» объявил роман «прежде всего и абсолютно антихристианским сочинением», ибо «в книге чувствуется гордыня и настойчиво утверждаются права человека». Да, мир Шарлотты Бронте был миром не только чувственных, но и мятежных страстей. Ее героиня не желала жить по-старому, покорясь воле тех, кто богаче ее и сильнее. «Вы думаете, я стерплю, когда у меня изо рта вырывают кусок хлеба, отнимают последнюю каплю живой воды из чаши моей?» — бросает она

в лицо Рочестеру, которому вздумалось довольно зло подшутить над ее любовью...

«Джейн Эйр» опередила на год романы Эмили и Анны.

Элизабет Гаскелл в «Жизни Шарлотты Бронте» (1857) отмечала, что «Грозовой перевал» «вызвал отвращение у многих читателей той выразительностью и силой, с которой были изображены дурные и непохожие на обычных смертных персонажи». Да, роман Эмили действительно было трудно воспринять в его художественном своеобразии, но в XX веке удивительную силу «Грозового перевала» ощутили вполне. Впрочем, и Гаскелл причислила его к «гениальным творениям», хотя и не совсем охотно, потому что ее ставила в тупик почти садистская жестокость Хитклифа, который, говоря словами нашего поэта, «весь мир возненавидел», чтобы «любить сильнее» свою Кэтрин. Поэтому «Атенеум», довольно высоко оценивший романтическую поэзию «Эллиса Белла», характеризовал роман как «неприятную историю, рассказывающую о болезненном и исключительном, делающую акцент на актах физической жестокости, созерцание которых отвращает истинный вкус». Критик, однако, ни словом не обмолвился о той моральной силе и мудрости, которые в романе «Грозовой перевал» неизменно противостоят жестокости, своенравию, коварству и безумию главных героев, а это — разумное и справедливое отношение к происходящему служанки Нелли Дин. Она осуществляет суд совести над всеми поступками героев романа, и этот суд суров и всегда неподкупен...

Стати, нельзя не отметить, что романтическое повествование Эмили Бронте, где дается простор самой причудливой фантазии, где стенают и бродят по вересковой пустоши привидения, а главный герой воплощает темное, бесовское начало, — иногда производит впечатление большего знания подлинной жизни, чем торнфилдские сцены и финал «Джейн Эйр». Силой своего таланта Шарлотта Бронте заставляет нас поверить в любовь Рочестера и Джейн и сделать правдоподобным счастливый конец романа. А вот в «Грозовом перевале» стихийные, роковые страсти Хитклифа и Кэтрин, невозможность им соединиться, предательство Кэтрин по отношению к Хитклифу объясняются весьма прозаически: ее дворянским снобизмом. Безродному Хитклифу она предпочитает богатого Эдгара Линтона, потому что теперь, как говорит Кэтрин осуждающей ее Нелли Дин, она «станет первой дамой в долине».

По отношению к роману «Эгнес Грей» современная критика была неодобрительна, да и сейчас нередко можно слышать, что

произведение это заслуживает внимания главным образом как компонент общей картины творчества сестер Бронте. Невольно начало этой традиции недооценки положила сама Шарлотта, преклонявшаяся перед «гением» Эмили, но весьма снисходительно оценивавшая творчество младшей сестры, очевидно и потому, что Анна предпочитала держаться почвы реальности и к полетам фантазии относилась довольно иронично. Анна Бронте мужественно и достойно шла тяжким путем — служила гувернанткой, до самого конца своей короткой жизни оставаясь «наемницей», как с горечью называла себя ее Эгнес Грей. Как ее любимая сестра, Анна спустя пять месяцев после смерти Эмили умерла от туберкулеза. Буквально накануне Анна закончила второй роман, «Хозяйка Уайлдфелл-холла», который критики потом нарекли «жоржсандовским». Трудно сказать, в каком направлении развивался бы талант Анны Бронте, возможно, и она бы заняла в английской прозе такое же видное место, как старшие сестры, если бы не безвременная смерть, но стойкостью духа она им не уступала.

«Мужайся, Шарлотта, мужайся», — были ее последние слова. А Шарлотте Бронте, несмотря на литературный успех, после смерти сестер и неудачника брата, действительно требовались все силы ее незаурядной души и мужество таланта, чтобы переплавить горечь утраты в творческую энергию.

В 1849 выходит ее роман «Шерли». В его героинях, следуя долгу любви, она воплощает образы сестер, трагически умерших в расцвете таланта. Так, в Шерли Килдар отразились некоторые черты загадочной натуры Эмили, а для Кэролайн Хелстон прототипом послужила Анна.

К этому времени, хотя Шарлотта и привыкла в письмах к издателям называть себя и сестер псевдонимами, обнаруживается тайна ее авторства. Друзья — Эллен Насси и Мэри Тэйлор — гордятся ею, мисс Вулер, опасаясь, что писательство может повредить репутации бывшей ученицы, спешит ее заверить, что, во всяком случае, она «не изменит к ней прежнего отношения». Крестная Шарлотты была шокирована открытием, что крестница пишет, и прервала с ней отношения. Зато появились новые друзья — общественная деятельница Гарриэт Мартино, писательница Элизабет Гаскелл, издатель Джордж Смит. Шарлотта принимает его предложение посетить Лондон. Смит и его мать оказывают Шарлотте Бронте самый радушный прием и знакомят ее с Теккереем, на которого она произвела очень благоприятное и трогательное впечатление.

«Помню маленькое, дрожащее от волнения создание, маленькую руку, большие честные глаза... Я представил себе суровую крошечную Жанну д'Арк, идущую на нас, чтобы упрекнуть за нашу легкую жизнь и легкую мораль. Она произвела на меня впечатление человека очень чистого, благородного, возвышенного», — напишет он потом в своих воспоминаниях «Последние наброски» (1860).

«Большие честные глаза» были еще и очень зорки, и у гостей Смита появлялось ощущение, что их «наблюдают и анализируют». А ее «наблюдала» миссис Смит: сын явно был заинтересован новой знаменитостью, и, пожалуй, не только как издатель. Смит и литературный консультант издательства Уильямс старались сделать пребывание Шарлотты в Лондоне приятным. Ее вывозили в театр, в Национальную галерею, она посетила Гарриэт Мартино и дважды виделась с Теккереем. Его визит к ней был вызван резкой рецензией в «Таймс» на роман «Шерли», и «титан мысли» — как называла его Шарлотта — хотел, очевидно, убедиться, что автор обладает стоической силой, свойственной ее героиням. Как ни была уязвлена Шарлотта Бронте, Теккереем она встретила спокойно, ничем не выдав своей обиды на рецензию.

Зима 1850 года для нее оказалась тяжелой. Когда уставшие глаза не позволяли больше читать или шить, Шарлотта предавалась воспоминаниям. Завывал норд-ост, и в жалобах ветра ей иногда чудились голоса сестер, и не раз она, подобно Хитклифу, готова была умолять их «души» «войти». Она была на пределе крайнего нервного истощения. Когда в Хаурт пришла весна, Шарлотта уходила в долгие прогулки. Как любила эти заросли вереска Эмили — пишет она Джеймсу Тэйлору, служащему фирмы «Смит и Элдер», а Анна любила «голубые дали», «бледные туманы», «тени на горизонте». Но вот опять она получила от миссис Смит приглашение приехать в Лондон. В этот раз Шарлотта побывала на ежегодной летней выставке Королевской академии живописи в Сент-Джеймской церкви, где с почтением взирала на кумира всей своей жизни престарелого героя Ватерлоо, герцога Веллингтона, несколько раз встречалась с Теккереем. Он пригласил ее к себе на обед с литературными и светскими дамами. Они с любопытством ожидали встречи с «Джейн Эйр» и предвкушали красноречивый диалог между хозяином дома и гостьей. Дамы были разочарованы: Шарлотта Бронте подолгу молчала, и разговор касался, главным образом, погоды и того, «как вам понравился Лондон». Дамы остались недовольны ее внешностью и тем, как убраны волосы, и платьем, сшитым провинциальной портнихой. «Джейн

Эйр» показалась им «утомленной собственной умственностью», как саркастически отозвался присутствовавший здесь известный английский художник Миллес. Впрочем, он заметил «оригинальность» ее черт и был разочарован, узнав, что по настоянию Смита она уже позирует портретисту Д. Ричмонду.

В этот ее визит в Лондон Джордж Смит был особенно предупредителен и любезен. Он действительно испытывал к ней большой интерес. С ним она чувствовала себя свободно, и он мог насладиться общением с ней. Она говорила хорошо, умно и откровенно. Смит предложил поехать с ним и его сестрой в Шотландию. Шарлотта сначала отказалась, но Смит умел настоять на своем. Так она побывала в Эдинбурге и Эбботсфорде. А что касается Смита — она признавалась в письме к Эллен: «То, что я старше его на шесть-восемь лет, не говоря уже о полном отсутствии притязаний на красоту и тому подобное, — прекрасное спасительное средство». Очевидно, спасительной была и память об Эгере. Прежняя любовь отступила, но не забывалась, для Шарлотты она была постоянным фоном, на котором разворачивались новые события жизненной драмы, а кроме того, очевидно — недостижимым идеалом, к которому примеривались новые симпатии.

Вернувшись домой, она впала в подавленное состояние. Теперь, когда не было Эмили и Анны, каждое возвращение вызывало приступ тоски. Внезапные переходы от замкнутой, одинокой жизни в Хаурте к «лондонской бурной стихии» и обратно тяжело сказывались на ее самочувствии, что начало тревожить отца. Он стал докучливо опекать дочь, а кроме того, вдруг решил, что Шарлотта скоро выйдет замуж, и это его очень беспокоило — не только из-за старческого эгоизма. Он был уверен, что ее здоровье не выдержит бремени супружеских обязательств. Но были и радости: например, встречи с Элизабет Гаскелл, которой Шарлотта Бронте нравилась «удивительным сочетанием простоты и силы». Очень обрадовало ее и предложение Смита выпустить вторым изданием «Грозовой перевал» и «Эгнес Грей», а также стихи сестер. Шарлотта отобрала восемнадцать стихотворений Эмили и семь из оставшихся после Анны. Она тщательно готовила их к изданию, и когда вновь перечитала «Грозовой перевал», чтение наполнило ее гордостью за Эмили, она опять ощутила необычную эмоциональную силу романа. В декабре 1850 года романы сестер были изданы с предисловием Шарлотты и краткими биографическими справками, и она очень была растрогана, когда журнал «Палладиум» опубликовал восторженную рецензию.

Всю зиму 1851 года она переписывается с Джеймсом Тэйлором, который питал к ней не только профессиональный интерес. Однако на его предложение Шарлотта ответила отказом — сердце ее было «немо» к мистеру Тэйлору. Оно не осталось, однако, «немо» к Джорджу Смигу. Шарлотта уже не могла заблуждаться относительно того, что питает к своему издателю более нежное чувство, чем позволяют «разум» и «страх разочарования». Она снова готовится к поездке в Лондон и на этот раз тщательно выбирает ткань для нового платья, шляпу и прочее, необходимое для пребывания в столице. Может быть, впервые в жизни ей захотелось сшить выходное платье не черного или коричневого цвета. Ей приглянулась ткань «прелестного бледного оттенка», но та была слишком дорога. Пришлось опять выбрать черный шелк, о чем она потом сожалела, так как «папа», оказывается, «смог бы одолжить ей соверен». (Интересно, насколько она располагала заработанными деньгами. Элизабет Гаскелл, например, долго получала литературные гонорары в присутствии мужа, которые он с удовлетворением прятал в свой кошелек. В XIX веке собственностью женщины владел муж или отец.)

Очевидно, в эту ее поездку Джорджем Смитом был решен вопрос о перспективе отношений с Шарлоттой Бронте. Он вполне серьезно мог обдумывать возможность брака с литературной «звездой», многообещающей писательницей, но этого союза не желали его мать и сестры. Очевидно, между Бронте и Смитом состоялось объяснение. В какой-то мере отношения с ним отошлись в ее романе «Виллет» («Городок»)¹.

Начиная работу, Шарлотта Бронте не предполагала, что ее первый роман «Учитель» когда-нибудь увидит свет, и поэтому немало заимствует из него. Экцентричный господин Пеле перевоплощается здесь в профессора Поля Эмманюэля. Зораиде Райтер пришла на смену коварная иезуитка мадам Бек, а Фрэнсис Анри стала учительницей пансиона Люси Сноу. Люси равнодушна к молодому и красивому доктору Джону Бреттону («Смит». — *М. Т.*), а он, проявив к ней сначала довольно нежное внимание, вдруг забывает о ней. Единственное ее утешение, а потом и радость — дружба Поля Эмманюэля («Эгер». — *М. Т.*). Он объясняется с Люси, снимает для нее дом с просторной классной комнатой, и Люси становится директрисой маленькой школы. Однако жениться он сейчас не может, ему предстоит далекое и долгое,

¹ Под таким названием роман издавался в переводе Е. Суриц и Л. Орел.

на целых три года, путешествие за океан. Но вот наступает время возвращения. Люси с нетерпением ждет Поля Эмманюэля в своем маленьком домике, где полно его любимых книг, однако Поль Эмманюэль погибает во время бури на океане, а Люси навсегда остается одинокой и несчастной. Напрасно отец, Патрик Бронте, не любивший грустных концов, изъявлял желание, чтобы роман кончался благополучно. Идея гибели Эмманюэля и невозможность счастья были так «впечатлены», по словам Э. Гаскелл, в воображение Бронте, что роман неминуемо должен был кончаться трагическим финалом.

Героиня последнего романа Бронте очень изменилась по сравнению с пылкой и страстной Джейн Эйр или «язычницей» Шерли. Люси — холодна (и ее «холодная» фамилия, Snow¹, — неслучайна). Бронте мастерски воспроизводит монотонную унылость, мрачность и холодное спокойствие Люси, ее раздражительность и менторство, с которыми она относится к жизнерадостной, но циничной красавице Джиневре Фэншо. Большой психологической удачей явился и образ Поля Эмманюэля. Прошло семь лет с тех пор, как Шарлотта послала Эгеру последнее письмо. За эти годы в ее жизни произошли большие перемены, и в относительном спокойствии она могла оглянуться и попытаться проанализировать, чем было вызвано то страстное и мучительное чувство. Теперь она лучше, реальнее понимала и характер, и поступки человека, которого любила. Воспоминание об этой любви сослужило ей добрую службу: оно помогло преодолеть новое разочарование, хотя в «Виллет» она как бы мимоходом скажет о «смертельной боли разрыва, вырывающей с корнем и надежду, и сомнения, и тем самым почти отнимающей жизнь».

Нежелание Шарлотты Бронте закончить роман «Виллет» счастливым финалом не было авторским капризом. В известной степени оно было продиктовано реальными обстоятельствами ее личной жизни, но также — сознательным стремлением к правде. Об этом она пишет Джорджу Смиту, который тоже предпочел бы счастливый конец. «Дух романтики указал бы другой путь, более красочный и приятный. Но это было бы не так, как бывает в реальной жизни, не соответствовало бы правде, находилось бы в разладе с вероятностью...»

По мере творческого развития Шарлотты Бронте возрастала и ее сопротивляемость иллюзии, стремление прочь от «возвыша-

¹ «Snow» — «снег» (англ.).

ющего обмана» к суровой правде, к реалистическому пониманию себя и других.

Окончив работу над романом «Виллет», Шарлотта Бронте чувствует себя вправе немного отдохнуть и с удовольствием принимает предложение миссис Смит погостить у нее, тем более что рассчитывает совместить отдых с чтением гранок — Смит обещал незамедлительно послать рукопись в типографию. Но есть еще одна причина, заставляющая ее в начале января 1852 года поспешно покинуть Хауорт. Помощник пастора Бронте, Артур Белл Николлс, делает ей предложение, что явилось для нее неожиданностью, и не очень приятной, а отец, услышав об этом, пришел в сильнейшее негодование и выразил его в «крепких словах». Артуру Николлсу она отказала и отбыла в Лондон, где на этот раз старалась познакомиться с «реальной стороной жизни, а не показной». Она посещает больницы, тюрьмы, банк, биржу.

В феврале появляются первые рецензии на «Виллет». Они лестны, и Шарлотта чувствует радость и успокоение: ведь это — победа. В романе «Виллет», как и в отвергнутом «Учителе», не было ничего романтического, а, главное, конец был не во вкусе широкой публики.

Прочитав «Виллет», Теккерей писал одной из своих американских знакомых: «Бедная женщина, обладающая талантом. Страстное, маленькое, жадное до жизни, храброе, трепетное, некрасивое создание. Читая ее романы, я догадываюсь, как она живет, и понимаю, что больше славы и других земных или небесных сокровищ она хотела бы, чтобы какой-нибудь Томкинс любил ее, а она любила его. Но дело в том, что это крошечное создание ну несколько не красиво, что ей тридцать лет, что она погребена в деревне и чахнет от тоски, а никакого Томкинса и не предвидится. Вокруг вас, хорошеньких девушек, выются десятки молодых людей, а тут талант, благородное сердце жаждет слияния с другим, а вместо этого осуждено иссыхать в стародавнем без всякой надежды утолить свои пламенные желания».

Знаток человеческих сердец на этот раз ошибался. Как раз «Томкинсы» у нее были: Генри Насси, Брайс, Тэйлор, а теперь вот Николлс, однако сначала было трудно отрешиться от романтического идеала, а потом — от воспоминаний об Эгере. «Страстное, маленькое, жадное до жизни, храброе, трепетное, некрасивое создание» было еще и очень требовательно. Но что же предстояло? Кроме одиночества — неуверенность в литературном будущем, хотя был уже задуман новый роман. Тревожило ее и материальное положение. Брак с Николлсом, самым вероятным преемником

пастора Бронте в Хауорте, означал более или менее сносное существование, если она не сможет заниматься литературным трудом, поэтому Шарлотта приняла вторичное предложение Николлса, и 29 июня 1854 года брак был заключен.

Спустя сто пятьдесят лет, в июне 2004-го, в церкви Святого Архангела Михаила состоялась поминальная служба, в частности и в память об этой дате. Около каменных плит, под которыми вместе с родными покоится Шарлотта Бронте, возвышался огромный венок из белых роз и гвоздик — как напоминание о свадебном букете невесты. Епископ из Брэдфорда произнес проповедь о событии полуторавековой давности. Увы, даже он не счел возможным назвать это событие счастливым, но говорил о неисповедимости путей Господних, быстротечности жизни и тщете человеческих надежд.

Ровно через пять месяцев после свадьбы, как явствует из письма Шарлотты к Эллен, она села за письменный стол, чтобы поработать над новым романом «Эмма», но «Артур» позвал ее на прогулку. На обратном пути они попали под проливной дождь, и Шарлотта сильно простудилась. Болезнь оказалась затяжной. Вскоре началась мучительная тошнота, которую врач приписал «естественным причинам». Служанка Марта преданно ухаживала за хозяйкой и пыталась подбодрить ее разговорами о будущем ребенке, но Шарлотта Бронте была слишком слаба, чтобы радоваться, слишком уже больна. Когда наступили беспамятство и бред и стали читать отходную, она пришла в себя и спросила: «Я не умираю, нет?..»

Однако мрачное предвидение Патрика Бронте сбылось. 31 марта 1855 года последняя из сестер Бронте умерла...

После смерти Шарлотты отец, переживший ее на шесть лет, просил Элизабет Гаскелл, верного друга дочери, написать историю «ее жизни и трудов». Гаскелл сразу согласилась, ощущая потребность — пишет она Джорджу Смиту — поведать о «жизни странной и печальной и прекрасном человеке, которого такая жизнь создала». Летом 1855 года она приезжает в Хауорт и просит дать ей возможность ознакомиться с письмами Шарлотты. Николлс, отрицательно относившийся к идее биографии, неохотно передал ей полтора десятка писем. Эллен Насси была гораздо щедрее: от нее Гаскелл получила триста пятьдесят. Гаскелл ездила и в Брюссель. Эгер принял ее холодно, однако потом, вступив в переписку, поделился воспоминаниями о Шарлотте и Эмили. В марте 1857 года Смит и Элдер опубликовали первое издание «Жизни Шарлотты Бронте», а уже в ноябре появилось издание третье. Мэри Тэйлор

считала, что Гаскелл все же не удалось в полной мере отобразить «меланхолическую картину этой жизни... она выглядит не столь мрачной, как то было в действительности...».

Книгу Гаскелл жадно читали и в Англии, и за океаном, как удивительный документ, свидетельствующий о человеческом мужестве. Луиза Мэй Олкотт, автор известного у нас романа «Маленькие женщины», была не только потрясена «печальной, безотрадней жизнью» Шарлотты Бронте, но тогда же дала себе слово «взять судьбу за горло и тоже быть полезной обществу женщиной».

Элизабет Гаскелл стремилась воссоздать истинный человеческий облик Бронте: она была знакома с Шарлоттой и пользовалась ее доверием, но сейчас нередко можно услышать сожаления о том, что Гаскелл слишком «сдержанно» рассказала о личной жизни Шарлотты, и нередко, словно с целью заполнить «пробелы», а также под стимулирующим воздействием сексуальной революции многие западные критики интерпретируют творчество сестер Бронте в свете фрейдистской психосексологии. Несчастливая любовь Шарлотты к Эгеру, ее увлечение Д. Смитом, ее поздний брак, одиночество Эмили и Анны — все это повод к бесконечным рассуждениям о подавленных импульсах и внутренней «агрессивности», особенно когда речь заходит об Эмили, которой, как нередко утверждается, была свойственна «врожденная неприязнь к мужчине». Отмечается, однако, и то, что именно в творчестве Шарлотты Бронте и ее сестер возникает образ новой женщины — существа свободолюбивого, независимого, равного мужчине по интеллекту и силе характера. Образ непокорной Джейн Эйр нашел отклик в произведениях английской поэтессы Элизабет Браунинг и писательницы Джордж Элиот, но особенно много подражаний вызвала «Джейн Эйр» за океаном. Укореняется сама типология образа бедной, но гордой девушки и конфликта, «заданного» Шарлоттой Бронте: героиня (необязательно гувернантка, но, как правило, молодая девушка или женщина) оказывается в неблагоприятных обстоятельствах и только благодаря своей моральной цельности, стойкости, уму и твердому характеру преодолевает жизненные невзгоды. Без преувеличения можно сказать, что Шарлотта Бронте ввела в мировую литературу в лице своей одинокой, гордой и неимущей героини «бродячий» образ, который неожиданно отзывается в творчестве самых разных писателей. Невозможно не вспомнить, например, рассказ А. П. Чехова «Дочь Альбиона», где сначала фарсовая (у Чехова) ситуация поднимается потом до высокого драматизма.

XX век принес с собой множество кино- и телеэкранизаций романов сестер Бронте. Первое место здесь занимает, конечно, «Джейн Эйр» (более двадцати фильмов), но и Хитклиф, и Кэтрин, и Элен Грэм тоже стали знакомы миллионам зрителей во всем мире.

Обделенные многими радостями бытия, но познавшие счастье творчества, сестры Бронте умерли трагически рано. Тем не менее силой своего таланта и мужественной борьбой они завоевали право на долгую жизнь, а возможно, и бессмертие, в искусстве.

М. Тугушева



ГЛАВА I

В этот день нечего было и думать о прогулке. Правда, утром мы еще побродили часок по дорожкам облетевшего сада, но после обеда (когда не было гостей, миссис Рид кушала рано) холодный зимний ветер нагнал угрюмые тучи и полил такой пронизывающий дождь, что и речи не могло быть ни о какой попытке выйти еще раз.

Что же, тем лучше: я вообще не любила подолгу гулять зимой, особенно под вечер. Мне казалось просто ужасным возвращаться домой в зябких сумерках, когда пальцы на руках и ногах немеют от стужи, а сердце сжимается тоской от вечной воркотни Бесси, нашей няньки, и от унижительного сознания физического превосходства надо мной Элизы, Джона и Джорджианы Рид.

Вышеупомянутые Элиза, Джон и Джорджиана собрались теперь в гостиной возле своей мамы: она полулежала на диване перед камином, окруженная своими дорогими детками (в данную минуту они не ссорились и не ревели), и, очевидно, была безмятежно счастлива.

Я была освобождена от участия в этой семейной группе; как заявила мне миссис Рид, она весьма сожалеет, но приходится отделить меня от остальных детей, по крайней мере до тех пор, пока Бесси не сообщит ей, да и она сама не увидит, что я действительно прилагаю все усилия, чтобы стать более приветливой и ласковой девочкой, более уживчивой и кроткой, пока она не заметит во мне что-то более светлое, доброе и чистосердечное; а тем временем она вынуждена лишить меня всех радостей, которые предназначены для скромных, почтительных деток.

— А что Бесси сказала? Что я сделала?

— Джейн, я не выношу придинок и допросов; это просто возмутительно, когда ребенок так разговаривает со старшими. Сядь где-нибудь и, пока не научишься быть вежливой, молчи.

Рядом с гостиной находилась небольшая столовая, где обычно завтракали. Я тихонько шмыгнула туда. Там стоял книжный шкаф; я выбрала себе книжку, предварительно убедившись, что в ней много картинок. Взобравшись на широкий подоконник, я уселась, поджав ноги по-турецки, задернула почти вплотную красные штофные занавесы и оказалась таким образом отгороженной с двух сторон от окружающего мира.

Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа; слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали тянулась сплошная завеса туч и тумана; на переднем плане раскинулась лужайка с растрепанными бурей кустами, их непрерывно хлестали потоки дождя, которые гнал перед собой ветер, налетавший сильными порывами и жалобно стенавший.

Затем я снова начинала просматривать книгу — это была «Жизнь английских птиц» Бьюика. Собственно говоря, самый текст мало интересовал меня, однако к некоторым страницам введения я, хоть и совсем еще ребенок, не могла остаться равнодушной: там говорилось об убежище морских птиц, о пустынных скалах и утесах, населенных только ими; о берегах Норвегии, от южной оконечности которой — мыса Линденеса — до Нордкапа разбросано множество островов:

...Где ледяного океана ширь
Кипит у островов, нагих и диких,
На дальнем севере; и низвергает волны
Атлантика на мрачные Гебриды.

Не могла я также пропустить и описание суровых берегов Лапландии, Сибири, Шпицбергена, Новой Земли, Исландии, Гренландии, «всего широкого простора полярных стран, этих безлюдных, угрюмых пустынь, извечной родины морозов и снегов, где ледяные поля в течение бесчисленных

зим намерзают одни над другими, громоздясь ввысь, подобно обледенелым Альпам; окружая полюс, они как бы сосредоточили в себе все многообразные козни сильнейшего холода». У меня сразу же сложилось какое-то свое представление об этих мертво-белых мирах, — правда, туманное, но необычайно волнующее, как все те, еще неясные догадки о Вселенной, которые рождаются в уме ребенка. Под впечатлением этих вступительных страниц приобретали для меня особый смысл и виньетки в тексте: утес, одиноко стоящий среди пенящегося бурного прибоя; разбитая лодка, выброшенная на пустынный берег; призрачная луна, глядящая из-за угрюмых туч на тонущее судно.

Неизъяснимый трепет вызывало во мне изображение заброшенного кладбища: одинокий могильный камень с надписью, ворота, два дерева, низкий горизонт, очерченный полуразрушенной оградой, и узкий серп восходящего месяца, возвещающий наступление вечера.

Два корабля, застигнутые штилем в недвижном море, казались мне морскими призраками.

Страничку, где был изображен сатана, отнимающий у вора узел с похищенным добром, я поскорее перевернула: она вызывала во мне ужас.

С таким же ужасом смотрела я и на черное рогатое существо, которое, сидя на скале, созерцает толпу, теснящуюся вдали у виселицы.

Каждая картинка таила в себе целую повесть, подчас трудную для моего неискушенного ума и смутных восприятий, но полную глубокого интереса — такого же, как сказки, которые рассказывала нам Бесси зимними вечерами в тех редких случаях, когда бывала в добром настроении. Придвинув гладильный столик к камину в нашей детской, она разрешала нам усесться вокруг и, отглаживая блонды на юбках миссис Рид или плоя щипцами оборки ее ночного чепчика, утоляла наше жадное любопытство рассказами о любви и приключениях, заимствованных из старинных волшебных сказок и еще более древних баллад или же, как я обнаружила в более поздние годы, из «Памелы» и «Генриха, герцога Морландского».

И вот, сидя с книгой на коленях, я была счастлива; по-своему, но счастлива. Я боялась только одного — что мне помешают, и это, к сожалению, случилось очень скоро.

Дверь в маленькую столовую отворилась.

— Эй, ты, нюня! — раздался голос Джона Рида; он замолчал: комната казалась пустой.

— Куда, к чертям, она запропастилась? — продолжал он. — Лиззи! Джорджи! — позвал он сестер. — Джоаны нет здесь. Скажите мамочке, что она убежала под дождик... Экая гадина!

«Хорошо, что я задернула занавесы», — подумала я, горячо желая, чтобы мое убежище не было открыто, впрочем, Джон Рид, не отличавшийся ни особой зоркостью, ни особой сообразительностью, ни за что бы его не обнаружил, но Элиза, едва просунув голову в дверь, сразу же заявила:

— Она на подоконнике, ручаюсь, Джон.

Я тотчас вышла из своего уголка; больше всего я боялась, как бы меня оттуда не вытащил Джон.

— Что тебе нужно? — спросила я с плохо разыгранным смирением.

— Скажи: «Что вам угодно, мистер Рид?» — последовал ответ. — Мне угодно, чтобы ты подошла ко мне. — И, усевшись в кресло, он показал жестом, что я должна подойти и стать перед ним.

Джону Риду исполнилось четырнадцать лет, он был четырьмя годами старше меня, так как мне едва минуло десять. Это был необычайно рослый для своих лет увалень с прыщевой кожей и нездоровым цветом лица; поражали его крупные нескладные черты и большие ноги и руки. За столом он постоянно объедался, и от этого у него был мутный, бессмысленный взгляд и дряблые щеки. Собственно говоря, ему следовало сейчас быть в школе, но мамочка взяла его на месяц-другой домой «по причине слабого здоровья». Мистер Майлс, его учитель, утверждал, что в этом нет никакой необходимости, — пусть ему только поменьше присылают из дому пирожков и пряников; но материнское сердце возмущалось столь грубым объяснением и склонялось к более благородной версии, приписывавшей бледность мальчика переутомлению, а может быть, и тоске по родному дому.

Джон не питал особой привязанности к матери и сестрам, меня же он просто ненавидел. Он запугивал меня и тиранил; и это не два-три раза в неделю и даже не раз или два в день, а беспрестанно. Каждым нервом я боялась его и трепетала

каждой жилкой, едва он приближался ко мне. Бывали минуты, когда я совершенно терялась от ужаса, ибо у меня не было защиты ни от его угроз, ни от его побоев; слуги не захотели бы рассердить молодого барина, став на мою сторону, а миссис Рид была в этих случаях слепа и глуха: она никогда не замечала, что он бьет и обижает меня, хотя он делал это не раз и в ее присутствии, а впрочем, чаще за ее спиной.

Привыкнув повиноваться Джону, я немедленно подошла к креслу, на котором он сидел; минуты три он развлекался тем, что показывал мне язык, стараясь высунуть его как можно больше. Я знала, что вот сейчас он ударит меня, и, с тоской ожидая этого, размышляла о том, какой он противный и безобразный. Может быть, Джон прочел эти мысли на моем лице, потому что вдруг, не говоря ни слова, размахнулся и пребольно ударил меня. Я покачнулась, но удержалась на ногах и отступила на шаг или два.

— Вот тебе за то, что ты надерзила маме, — сказал он, — и за то, что спряталась за шторы, и за то, что так на меня посмотрела сейчас, ты, крыса!

Я привыкла к грубому обращению Джона Рида, и мне в голову не приходило дать ему отпор; я думала лишь о том, как бы вынести второй удар, который неизбежно должен был последовать за первым.

— Что ты делала за шторой? — спросил он.

— Я читала.

— Покажи книжку.

Я взяла с окна книгу и принесла ему.

— Ты не смеешь брать наши книги; мама говорит, что ты живешь у нас из милости; ты нищенка, твой отец тебе ничего не оставил; тебе следовало бы милостыню просить, а не жить с нами, детьми джентльмена, есть то, что мы едим, и носить платья, за которые платит наша мама. Я покажу тебе, как рыться в книгах. Это мои книги! Я здесь хозяин! Или буду хозяином через несколько лет. Пойди встань у дверей, подалее от окон и от зеркала.

Я послушалась, сначала не догадываясь о его намерениях; но когда я увидела, что он встал и замахнулся книгой, чтобы пустить ею в меня, я испуганно вскрикнула и невольно отскочила, однако недостаточно быстро: толстая книга задела меня на лету, я упала и, ударившись о косяк двери, расшиб-

ла голову. Из раны потекла кровь, я почувствовала резкую боль, и тут страх внезапно покинул меня, дав место другим чувствам.

— Противный, злой мальчишка! — крикнула я. — Ты — как убийца, как надсмотрщик над рабами, ты — как римский император!

Я прочла «Историю Рима» Голдсмита¹ и составила себе собственное представление о Нероне, Калигуле и других тиранах. Втайне я уже давно занималась сравнениями, но никогда не предполагала, что выскажу их вслух.

— Что? Что? — закричал он. — Кого ты так называешь?.. Вы слышали, девочки? Я скажу маме! Но раньше...

Джон ринулся на меня; я почувствовала, как он схватил меня за плечо и за волосы. Однако перед ним было отчаянное существо. Я действительно видела перед собой тирана, убийцу. По моей шее одна за другой потекли капли крови, я испытывала резкую боль. Эти ощущения на время заглушили страх, и я встретила Джона с яростью. Я не вполне сознавала, что делают мои руки, но он крикнул: «Крыса! Крыса!» — и громко завопил. Помощь была близка. Элиза и Джорджиана побежали за миссис Рид, которая ушла наверх; она явилась, за ней следовали Бесси и камеристка Эббот. Нас разняли, и до меня донеслись слова:

— Ай-ай! Вот негодница, как она набросилась на мастера Джона!

— Этакая злоба у девочки!

И наконец приговор миссис Рид:

— Уведите ее в красную комнату и запирайте там.

Четыре руки подхватили меня и понесли наверх.

ГЛАВА II

Я сопротивлялась изо всех сил, и эта неслыханная дерзость еще ухудшила и без того дурное мнение, которое сложилось обо мне у Бесси и мисс Эббот. Я была прямо-таки не в себе, или, вернее, вне себя, как сказали бы французы:

¹ Голдсмит, Оливер (1728–1774) — английский писатель, автор романа «Векфильдский священник».

я понимала, что мгновенная вспышка уже навлекла на меня всевозможные кары, и, как всякий восставший раб, в своем отчаянии была готова на все.

— Держите ее за руки, мисс Эббот, она точно бешеная...

— Какой срам! Какой стыд! — кричала камеристка. — Разве можно так недостойно вести себя, мисс Эйр? Бить молодого барина, сына вашей благодетельницы! Ведь это же ваш молодой хозяин!

— Хозяин? Почему это он мой хозяин? Разве я прислуга?

— Нет, вы хуже прислуги, вы не работаете, вы дармоедка! Вот посидите здесь и подумайте хорошенько о своем поведении.

Тем временем они втащили меня в комнату, указанную миссис Рид, и с размаху опустили на софу. Я тотчас взвилась, как пружина, но две пары рук схватили меня и приковали к месту.

— Если вы не будете сидеть смиренно, вас придется привязать, — сказала Бесси. — Мисс Эббот, дайте-ка мне ваши подвязки, мои она сейчас же разорвет.

Мисс Эббот отвернулась, чтобы снять с деблоной ноги подвязку. Эти приготовления и ожидавшее меня новое бесчестие несколько охладили мой пыл.

— Не снимайте, я буду сидеть смиренно! — воскликнула я и в доказательство вцепилась руками в софу, на которой сидела.

— Ну, смотрите!.. — сказала Бесси.

Убедившись, что я действительно покорилась, она отпустила меня; а затем обе стали передо мной, сложив руки на животе и глядя на меня подозрительно и недоверчиво, словно сомневались в моем рассудке.

— С ней никогда еще этого не было, — произнесла наконец Бесси, обращаясь к мисс Эббот.

— Ну, это все равно сидело в ней. Сколько раз я высказывала миссис Рид свое мнение об этом ребенке, и миссис всегда соглашалась со мной. Нет ничего хуже такой тихони! Я никогда не видела, чтобы ребенок ее лет был настолько скрытен.

Бесси не ответила; но немного спустя она сказала, обращаясь ко мне:

— Вы же должны понимать, мисс, чем вы обязаны миссис Рид: ведь она кормит вас; выгони она вас отсюда, вам пришлось бы идти в работный дом.

Мне нечего было возразить ей: мысль о моей зависимости была для меня не нова, — с тех пор как я помню себя, мне намекали на нее, укор в дармоедстве стал для меня как бы постоянным припевом, мучительным и гнетущим, но лишь наполовину понятным. Мисс Эббот поспешно добавила:

— И не воображайте, что вы родня барышням и мистеру Риду, если даже миссис Рид так добра, что воспитывает вас вместе с ними. Они будут богатые, а у вас никогда ничего не будет. Поэтому вы должны смириться и угождать им.

— Мы ведь говорим все это ради вашей же пользы, — добавила Бесси уже мягче. — Старайтесь быть услужливой, ласковой девочкой. Тогда, может быть, этот дом и станет для вас родным домом; а если вы будете злиться и грубить, миссис наверняка выгонит вас отсюда.

— Кроме того, — добавила мисс Эббот, — Бог непременно накажет такую дурную девочку. Он может поразить ее смертью во время одной из ее выходов, и что тогда будет с ней? Пойдем, Бесси, пусть посидит одна. Ни за что на свете не хотела бы я иметь такой характер. Молитесь, мисс Эйр, а если вы не раскаетесь, как бы кто не спустился по трубе и не утащил вас...

Они вышли, затворив за собой дверь, и заперли меня на ключ.

Красная комната была нежилой, и в ней ночевали крайне редко, вернее — никогда, разве только наплыв гостей в Гейтсхэд-холле вынуждал хозяев вспомнить о ней; вместе с тем это была одна из самых больших и роскошных комнат дома. В центре, точно алтарь, высилась кровать с массивными колонками красного дерева, завешенная пунцовым пологом; два высоких окна с всегда опущенными шторами были наполовину скрыты ламбрекенами из той же материи, спускавшимися фестонами и пышными складками; ковер был красный, стол в ногах кровати покрыт алым сукном. Стены обтянуты светло-коричневой тканью с красноватым рисунком; гардероб, туалетный стол и кресла — из полированного красного дерева. На фоне этих глубоких темных тонов резко белела гора пуховиков и подушек на постели, засланной бе-

лоснежным пикейным покрывалом. Почти так же резко выделялось и мягкое кресло в белом чехле у изголовья кровати, со скамеечкой для ног перед ним; это кресло казалось мне каким-то фантастическим белым тронem.

В комнате стоял промозглый холод, оттого что ее редко топили; в ней царило безмолвие, оттого что она была удалена от детской и кухни; в ней было жутко, оттого что в нее, как я уже говорила, редко заглядывали люди. Одна только горничная являлась сюда по субботам, чтобы смахнуть с мебели и зеркал осевшую за неделю пыль, да еще сама миссис Рид приходила изредка, чтобы проверить содержимое некоего потайного ящика в комодe, где хранился фамильный архив, шкатулка с драгоценностями и миниатюра, изображавшая ее умершего мужа; в последнем обстоятельстве, а именно в смерти мистера Рида, и таилась загадка красной комнаты, того заклятия, которое лежало на ней, несмотря на все ее великолепие.

С тех пор как умер мистер Рид, прошло девять лет; именно в этой комнате он испустил свой последний вздох; здесь он лежал мертвый; отсюда факельщики вынесли его гроб, — и с этого дня чувство какого-то мрачного благоговения удерживало обитателей дома от частых посещений красной комнаты.

Я все еще сидела на том месте, к которому меня как бы приковали Бесси и злючка мисс Эббот. Это была низенькая софа, стоявшая неподалеку от мраморного камина; передо мной высилась кровать; справа находился высокий темный гардероб, на лакированных дверцах которого смутно отражались бледные световые блики; слева — занавешенные окна. Огромное зеркало в простенке между ними повторяло пустынную торжественность комнаты и кровати. Я не была вполне уверена в том, что меня заперли, и поэтому, когда наконец решила сдвинуться с места, встала и подошла к двери. Увы! Я была узницей, не хуже, чем в тюрьме. Возвращаться мне пришлось мимо зеркала, и я невольно заглянула в его глубину. Все в этой призрачной глубине предстало мне темнее и холоднее, чем в действительности, а странная маленькая фигурка, смотревшая на меня оттуда, ее бледное лицо и руки, белеющие среди сумрака, ее горящие страхом глаза, которые одни казались живыми в этом мертвом цар-

стве, действительно напоминали призрак: что-то вроде тех крошечных духов, не то фей, не то эльфов, которые, по рассказам Бесси, выходили из пустынных, заросших папоротником болот и внезапно появлялись перед запоздалым путником.

Я вернулась на свое место. Я уже была во власти суеверного страха, но час его полной победы еще не настал. Кровь моя все еще была горяча, и ярость восставшего раба жгла меня своим живительным огнем. На меня снова хлынул поток воспоминаний о прошлом, и я отдалась ему, прежде чем покориться мрачной власти настоящего.

Грубость и жестокость Джона Рида, надменное равнодушие его сестер, неприязнь их матери, несправедливость слуг — все это встало в моем расстроенном воображении, точно поднявшийся со дна колодца мутный осадок. Но почему я должна вечно страдать, почему меня все презирают, не любят, клянут? Почему я не умею никому угодить и все мои попытки заслужить чью-либо благосклонность так напрасны? Почему, например, к Элизе, которая упряма и эгоистична, или к Джорджиане, у которой отвратительный характер, капризный, раздражительный и заносчивый, все относятся снисходительно? Красота и розовые щеки Джорджианы, ее золотые кудри, видимо, пленяют каждого, кто смотрит на нее, и за них ей прощают любую шалость. Джону также никто не противоречит, его никогда не наказывают, хотя он душит голубей, убивает цыплят, травит овец собаками, крадет в оранжереях незрелый виноград и срывает бутоны самых редких цветов; он даже называет свою мать «старушкой», смеется над ее цветом лица — желтоватым, как у него, не подчиняется ее приказаниям и нередко рвет и пачкает ее шелковые платья. И все-таки он ее «ненаглядный сыночек». Мне же не прощают ни малейшего промаха. Я стараюсь ни на шаг не отступать от своих обязанностей, а меня называют непослушной, упрямой и лгуньей, и так с утра и до ночи.

Голова у меня все еще болела от ушиба, из ранки сочилась кровь. Однако никто не упрекнул Джона за то, что он без причины ударил меня; а я, восставшая против него, чтобы избежать дальнейшего грубого насилия, — я вызвала всеобщее негодование.

«Ведь это же несправедливо, несправедливо!» — твердил мне мой разум с той недетской ясностью, которая рождается пережитыми испытаниями, а проснувшаяся энергия заставляла меня искать какого-нибудь способа избавиться от этого нестерпимого гнета: например, убежать из дома или, если бы это оказалось невозможным, никогда больше не пить и не есть, уморить себя голодом.

Как была ожесточена моя душа в этот тоскливый вечер! Как были взбудоражены мои мысли, как бунтовало сердце! И все же в каком мраке, в каком неведении протекала эта внутренняя борьба! Ведь я не могла ответить на вопрос, возникавший вновь и вновь в моей душе: отчего я так страдаю? Теперь, когда прошло столько лет, это перестало быть для меня загадкой.

Я совершенно не подходила к Гейтсхэд-холлу. Я была там как бельмо на глазу, у меня не было ничего общего ни с миссис Рид, ни с ее детьми, ни с ее приближенными. Если они не любили меня, то ведь и я не любила их. С какой же стати они должны были относиться тепло к существу, которое не чувствовало симпатии ни к кому из них; к существу, так сказать, инородному для них, противоположному им по натуре и стремлениям; существу во всех смыслах бесполезному, от которого им нечего было ждать; существу зловредному, носившему в себе зачатки мятежа, восставшему против их обращения с ним, презиравшему их взгляды? Будь я натурой жизнерадостной, беспечным, своевольным, красивым и пылким ребенком — пусть даже одиноким и зависимым, — миссис Рид отнеслась бы к моему присутствию в своей семье гораздо снисходительнее; ее дети испытывали бы ко мне более товарищеские дружелюбные чувства; слуги не стремились бы вечно делать из меня козла отпущения.

В красной комнате начинало темнеть; был пятый час, и свет тусклого облачного дня переходил в печальные сумерки. Дождь все так же неустанно барабанил по стеклам окон на лестнице, и ветер шумел в аллее за домом. Постепенно я вся заоченела, и мужество стало покидать меня. Обычное чувство приниженности, неуверенности в себе, растерянности и уныния опустилось, как сырой туман, на уже перегоревшие угли моего гнева. Все уверяют, что я дурная... Может быть, так оно и есть; разве я сейчас не обдумывала, как уморить себя голо-

дом? Ведь это же грех! А разве я готова к смерти? И разве склеп под плитами гейтсхэдской церкви уж такое привлекательное убежище? Мне говорили, что там похоронен мистер Рид... Это дало невольный толчок моим мыслям, и я начала думать о нем со все возрастающим ужасом. Я не помнила его, но знала, что он мой единственный родственник — брат моей матери, что, когда я осталась сиротой, он взял меня к себе и в свои последние минуты потребовал от миссис Рид обещания, что она будет растить и воспитывать меня как собственного ребенка. Миссис Рид, вероятно, считала, что сдержала свое обещание; она его и сдержала — в тех пределах, в каких ей позволяла ее натура. Но могла ли она действительно любить навязанную ей девочку, существо, совершенно чуждое ей и ее семье, ничем после смерти мужа с ней не связанное? Скорее миссис Рид тяготилась необходимостью соблюдать данное в такую минуту обещание: быть матерью чужому ребенку, которого она не могла полюбить, с постоянным присутствием которого в семье не могла примириться.

Мною овладела странная мысль: я не сомневалась в том, что, будь мистер Рид жив, он относился бы ко мне хорошо. И вот, созерцая эту белую постель и тонувшие в сумраке стены, а также бросая время от времени тревожный взгляд в тускло блестящее зеркало, я стала припоминать все слышанные раньше рассказы о том, будто умершие, чья предсмертная воля не выполнена и чей покой в могиле нарушен, иногда посещают землю, чтобы покарать виновных и отомстить за угнетенных; и мне пришло в голову: а что, если дух мистера Рида, терзаемый обидами, которые терпит дочь его сестры, вдруг покинет свою гробницу под сводами церковного склепа или неведомый мир усопших и явится мне в этой комнате? Я отерла слезы и постаралась сдержать свои всхлипывания, опасаясь, как бы в ответ на бурное проявление моего горя не зазвучал потусторонний голос, пожелавший утешить меня; как бы из сумрака не выступило озаренное фосфорическим блеском лицо, которое склонится надо мной с неземной кротостью. Появление этой тени, казалось бы столь утешительное, вызвало бы во мне — я это чувствовала — безграничный ужас. Всеми силами я старалась отогнать от себя эту мысль, успокоиться. Откинув падавшие на лоб волосы, я подняла голову и сделала попытку храбро

обвести взором темную комнату. Какой-то слабый свет появился на стене. Я спрашивала себя, не лунный ли это луч, пробравшийся сквозь отверстие в занавесе? Нет, лунный луч лежал бы спокойно, а этот свет двигался; пока я смотрела, он скользнул по потолку и затрепетал над моей головой. Теперь я охотно готова допустить, что это была полоска света от фонаря, с которым кто-то шел через лужайку перед домом. Но в ту минуту, когда моя душа была готова к самому ужасному, а чувства потрясены всем пережитым, я решила, что неверный трепетный луч — вестник гостя из другого мира. Мое сердце судорожно забилося, голова запылала, уши наполнил шум, подобный шелесту крыльев; я ощущала чье-то присутствие, что-то давило меня, я задыхалась; всякое самообладание покинуло меня. Я бросилась к двери и с отчаянием начала дергать ручку. По коридору раздались поспешные шаги; ключ в замке повернулся, вошли Бесси и Эббот.

— Мисс Эйр, вы заболели? — спросила Бесси.

— Какой ужасный шум! Я до смерти испугалась! — воскликнула Эббот.

— Возьмите меня отсюда! Пустите меня в детскую! — кричала я.

— Отчего? Разве вы ушиблись? Или вам что-нибудь привиделось? — снова спросила Бесси.

— О!.. Тут мелькнул какой-то свет, и мне показалось, что сейчас появится привидение! — Я вцепилась в руку Бесси, и она не вырвала ее у меня.

— Она нарочно подняла крик, — сказала Эббот презрительно, — и какой крик! Как будто ее режут. Верно, она просто хотела заманить нас сюда. Знаю я ее гадкие штуки!

— Что тут происходит? — властно спросил чей-то голос; по коридору шла миссис Рид, ленты на ее чепце развевались, платье угрожающе шуршало. — Эббот, Бесси! Я, кажется, приказала оставить Джейн Эйр в красной комнате, пока сама не приду за ней!

— Мисс Джейн так громко кричала, сударыня, — просительно сказала Бесси.

— Пустите ее, — был единственный ответ. — Не держись за руки Бесси, — обратилась она ко мне. — Этим способом ты ничего не добьешься, можешь быть уверена. Я ненавижу притворство, особенно в детях; мой долг доказать тебе, что

подобными фокусами ты ничего не достигнешь. Теперь ты останешься здесь еще на лишний час, да и тогда я выпущу тебя только при условии полного послушания и спокойствия.

— О тетя! Сжальтесь! Простите! Я не могу выдержать этого... Накажите меня еще как-нибудь! Я умру, если...

— Молчи! Такая несдержанность отвратительна!

Я и в самом деле была ей отвратительна. Она считала меня уже сейчас опытной комедианткой; она искренне видела во мне существо, в котором неумеренные страсти сочетались с низостью души и опасной лживостью.

Тем временем Бесси и Эббот удалились, и миссис Рид, которой надоели и мой непреодолимый страх, и мои рыдания, решительно втокнула меня обратно в красную комнату и без дальнейших разговоров заперла там. Я слышала, как она быстро удалась. А вскоре после этого со мной, видимо, сделался припадок, и я потеряла сознание.

ГЛАВА III

Помню одно: очнулась я как после страшного кошмара; передо мною рдело жуткое багряное сияние, перечеркнутое широкими черными полосами. Я слышала голоса, но они едва доносились до меня, словно заглушаемые шумом ветра или воды; волнение, неизвестность и всепоглощающий страх как бы сковали все мои ощущения. Вскоре, однако, я почувствовала, как кто-то прикасается ко мне, приподнимает и поддерживает меня в сидячем положении, — так бережно еще никто ко мне не прикасался. Я прислонилась головой к подушке или к чьему-то плечу, и мне стало так хорошо...

Еще пять минут, и туман забытья окончательно рассеялся. Теперь я отлично понимала, что нахожусь в детской, в своей собственной кровати, и что зловещий блеск передо мной — всего-навсего яркий огонь в камине. Была ночь; на столе горела свеча; Бесси стояла в ногах кровати, держа таз, а рядом в кресле сидел, склонившись надо мной, какой-то господин.

Я испытала невыразимое облегчение, благотворное чувство покоя и безопасности, как только поняла, что в комнате находится посторонний человек, не принадлежащий ни к обитателям Гейтсхэда, ни к родственникам миссис Рид.

Отвернувшись от Бесси (хотя ее присутствие было мне гораздо менее неприятно, чем было бы, например, присутствие Эббот), я стала рассматривать лицо сидевшего возле кровати господина; я знала его, это был мистер Ллойд, аптекарь, которого миссис Рид вызывала, когда заболел кто-нибудь из слуг. Для себя и для своих детей она приглашала врача.

— Ну-ка, кто я? — спросил он.

Я назвала его и протянула ему руку; он взял ее, улыбаясь, и сказал:

— Ну, теперь мы будем понемножку поправляться.

Затем он снова уложил меня и, обратившись к Бесси, поручил ей особенно следить за тем, чтобы ночью меня никто не беспокоил. Дав ей еще несколько указаний и предупредив, что завтра опять зайдет, он удалился, к моему глубокому огорчению: я чувствовала себя в такой безопасности, так спокойно, пока он сидел возле моей кровати; но едва за ним закрылась дверь, как в комнате словно потемнело и сердце у меня упало, невыразимая печаль легла на него тяжелым камнем.

— Может быть, вы теперь заснете, мисс? — спросила Бесси с необычайной мягкостью.

Я едва осмелилась ей ответить, опасаясь, как бы за этими словами не последовали более грубые.

— Постараюсь.

— Может быть, вы хотите пить или скушаете что-нибудь?

— Нет, спасибо, Бесси.

— Тогда я, пожалуй, лягу, уже первый час; но вы меня кликните, если вам ночью что понадобится.

Какое небывалое внимание! Оно придало мне мужества, и я спросила:

— Бесси, что со мной случилось? Я больна?

— Вам стало нехорошо в красной комнате, наверно от плача; но теперь вы скоро поправитесь.

Затем Бесси ушла в каморку для горничных, находившуюся по соседству с детской. И я слышала, как она сказала:

— Сара, приходи ко мне спать в детскую; ни за что на свете я не останусь одна с бедной девочкой. А вдруг она умрет!.. Как странно, что с ней случился этот припадок... Хотела бы я знать, видела она что-нибудь или нет? Все-таки барыня была на этот раз чересчур строга к ней.